

Блюмфельд, старый холостяк. Франц Кафка

Блюмфельд, старый холостяк, поднимался однажды вечером в свою квартиру, что было нелегкой работой, ибо он жил на седьмом этаже. Поднимаясь, он часто в последнее время думал о том, что эта жизнь в полном одиночестве довольно тягостна, что сейчас он должен буквально тайком подняться на эти семь этажей, чтобы добраться до своих пустых комнат, там опять-таки буквально тайком надеть халат, закурить трубку, почитать французскую газету, которую он уже много лет выписывал, выпить при этом глоток-другой самодельной вишневой настойки и, наконец, через полчаса лечь в постель, но прежде полностью ее перестелить, поскольку не вынимавшая никаким наставлениям служанка укладывала постельные принадлежности всегда как ей взбредет в голову. Блюмфельд был бы очень рад, если бы кто-нибудь сопроводил его, если бы кто-нибудь наблюдал за этими его занятиями. Он уже давно думал, не завести ли ему собачку. Такому животному свойственна веселость, но прежде всего благодарность и верность; у одного коллеги Блюмфельда есть такая собака, она никого не признает, кроме своего хозяина, и если она его несколько минут не видела, то встречает его громким лаем, явно выражая этим свою радость по поводу того, что снова нашла своего хозяина, такого необыкновенного благодетеля. Конечно, у собаки есть и свои скверные стороны. Даже если она очень чистоплотна, она загрязняет комнату. Это неизбежно, нельзя же каждый раз, прежде чем возьмешь ее в комнату, купать ее в горячей воде, да и здоровье его этого не вынесло бы. А грязи у себя в комнате Блюмфельд тоже не выносит, чистота комнаты – нечто совершенно необходимое для него, много раз на неделе он ссорится с не очень, к сожалению, педантичной в этом вопросе служанкой. Поскольку она туга на ухо, он обычно тянет ее за руку к тем местам комнаты, чистота которых не удовлетворяет его. Такой строгостью он добился того, что порядок в комнате приблизительно соответствует его желаниям. А заведя собаку, он прямо-таки добровольно развел бы в своей комнате грязь, от которой до сих пор так старательно защищался. Появились бы блохи, постоянные спутники собак. А уж если заведутся блохи, то недалеко и тот миг, когда Блюмфельд оставит собаке свою уютную комнату, а себе поищет другую. Нечистоплотность, однако, – это только одна отрицательная сторона собак. Собаки еще и болеют, а в собачьих болезнях никто, в сущности, не смыслит. Тогда это животное забивается в угол или еле волочит ноги, скулит, кашляет, давится от какой-то боли, его укутывают одеялом, насвистывают ему что-нибудь, поят его молоком, ухаживают за ним, надеясь, что дело идет, как то и бывает, о кратковременном недуге, а между тем это может быть серьезная, противная и заразная болезнь. Но даже если собака останется здоровой, она когда-нибудь состарится, а ты не решился избавиться от своего верного друга вовремя, и наступит время, когда слезящимися собачьими глазами на тебя взглянет собственная твоя старость. А тогда придется мучиться с полуслепым, задыхающимся, почти неподвижным от ожирения животным и дорого платить этим за радости, которые тебе прежде доставляла собака. Как ни хотелось бы Блюмфельду завести собаку сейчас, он предпочитает еще тридцать лет в одиночестве подниматься по лестнице, чем потом возиться с таким старым псом, который, вздыхая еще громче, чем он сам, будет рядом с ним тащиться со ступеньки на ступеньку.

Итак, Блюмфельд останется один, у него нет наклонностей старой девы, желающей иметь рядом с собой какое-нибудь подвластное живое существо, которое она может защищать, с которым она может быть нежной, которое она всегда готова обслуживать, так что для этого ей достаточно кошки, канарейки, а то и золотых рыбок. А если это не получается, то она довольствуется даже цветами перед окном. Блюмфельду же нужен спутник, нужно животное, о котором не надо особенно заботиться, которого не вредно и пнуть иногда ногой, которое при нужде может переночевать и на улице, но которое, как только у Блюмфельда появится такая охота, будет ублажать его лаем, прыжками, лизаньем рук. Чего-то в этом роде хочется Блюмфельду, а поскольку, как он понимает, получить это без слишком больших неудобств нельзя, он от этого отказывается, но по своей основательности время от времени, например, в этот вечер, возвращается все к той же мысли.

Вынимая наверху перед своей дверью ключ из кармана, он обращает внимание на шорох, доносящийся из его комнаты. Станный, дребезжащий шорох, но очень бойкий, очень равномерный. Поскольку Блюмфельд думал как раз о собаках, это напоминает ему шорох, который создают лапы, когда они попеременно стучат по полу. Но лапы не дребезжат, это не лапы. Он поспешно открывает дверь и зажигает электрический свет. К этому зрелищу он подготовлен не был. Это просто волшебство, два маленьких, белых в синюю полоску целлулоидных мяча прыгают по паркету рядом вверх-вниз; когда один ударяется о пол, другой в самом верху, и свою игру они ведут неустанно. Когда-то в гимназии во время известного электрического опыта Блюмфельд видел, как прыгают сходным образом маленькие шарики, но это относительно большие мячи, они прыгают в пустой комнате, и никакого электрического опыта не производится. Блюмфельд наклоняется к ним, чтобы получше их рассмотреть. Это несомненно обычные мячи, внутри у них, наверно, еще несколько мячей поменьше, и они-то и издают этот дребезжащий звук. Блюмфельд делает движение рукой, чтобы проверить, не подвешены ли они на каких-то нитках, нет, они движутся совершенно самостоятельно. Жаль, что Блюмфельд не ребенок, два таких мяча были бы для него радостным сюрпризом, а сейчас это производит на него скорее неприятное впечатление. Ведь не такое уж и нестоящее дело – жить на правах незаметного холостяка только тайком, а теперь кто-то, неважно – кто, раскрыл эту тайну и подослал к нему эти смешные два мяча.

Он хочет схватить один из них, но они отступают от него и заманивают его в комнату, вслед за собой. Совсем, однако, глупо, думает он, бегать так за мячами, он останавливается и смотрит, как они, поскольку погоня, кажется, прекратилась, тоже остаются на том же месте. Но я все-таки попытаюсь поймать их, думает он, затем снова спешит к ним. Они тотчас же обращаются в бегство, но Блюмфельд, расставляя ноги, загоняет их в угол комнаты, и перед чемоданом, который там стоит, ему удается поймать один мяч. Это холодноватый маленький мяч, он вертится в его руке, явно стремясь выскользнуть. И другой мяч тоже, словно видя беду своего товарища, подпрыгивает выше, чем прежде, и все повышает прыжки, пока не допрыгивает до руки Блюмфельда. Он ударяет его по руке, ударяет, прыгает все быстрее, меняет точки атаки, затем, бессильный против руки, которая целиком охватила мяч, подпрыгивает еще выше и хочет, вероятно, достичь блюмфельдовского лица. Блюмфельд мог бы поймать и этот мяч и оба где-нибудь запереть, но сейчас ему кажется слишком унижительным принимать такие меры против двух маленьких мячей. Да это же и забава – иметь два таких мяча, к тому же они довольно скоро устанут, закатятся под шкаф и угомонятся. Несмотря, однако, на это соображение, Блюмфельд в гневе швыряет мяч на пол, удивительно, что его тонкая, почти прозрачная целлулоидная оболочка при этом не разбивается. Без промедления оба мяча возобновляют прежние низкие, взаимно согласованные прыжки.

Блюмфельд спокойно раздевается, развешивает одежду в шкафу, он всегда проверяет, оставила ли все в порядке служанка. Раз-другой он смотрит через плечо на мячи, которые, когда их перестали преследовать, сами теперь, кажется, преследуют его, они подвинулись вслед за ним и прыгают теперь рядом сзади. Блюмфельд надевает халат и хочет пройти к противоположной стене, чтобы взять с

висящей там подставки одну из трубок. Поворачиваясь, он произвольно выбрасывает назад ногу, но мячи ухитряются увернуться, и он их не задевает. Когда он теперь идет за трубкой, мячи сразу присоединяются к нему, он шаркает туфлями, ступает неровно, но за каждым его шагом следует почти без паузы звук мячей, они не отстают от него. Блюмфельд неожиданно поворачивается, чтобы посмотреть, как это умудряются делать мячи. Но как только он поворачивается, мячи описывают полукруг и оказываются уже снова позади, и это повторяется, как только он повернется. Как свита, они стараются не задерживаться перед Блюмфельдом. Однажды они осмелились на это, по-видимому, только чтобы представиться ему, а теперь уже приступили к своим обязанностям.

До сих пор во всех исключительных случаях, где у него не хватало сил овладеть положением, Блюмфельд прибегал к одному средству: он делал вид, что ничего не замечает. Это нередко помогало и большей частью, по крайней мере, улучшало положение. Вот он и теперь ведет себя так же, стоит перед подставкой, выбивает, выпятив губы, трубку, особенно основательно набивает ее табаком из лежащего наготове кисета и, не беспокоясь, предоставляет мячам совершать прыжки у себя за спиной. Медлит он только пройти к столу, ему почти не слышать одинаковый ритм прыжков и собственных шагов. Поэтому он стоит, набивая трубку ненужно долго, и рассчитывает расстояние, отделяющее его от стола. Наконец он преодолевает свою слабость и проходит этот отрезок с таким топотом, что вообще не слышит мячей. Когда он садится, они, однако, опять прыгают за его креслом так же внятно, как раньше.

Над столом на расстоянии вытянутой руки к стене прикреплена полка, где стоит бутылка с вишневой настойкой в окружении рюмочек. Рядом с ней лежит стопка номеров французского журнала. (Как раз сегодня пришел новый номер, и Блюмфельд берет его. О настойке он совсем забывает, у него и у самого такое чувство, словно сегодня он не отступает от своих обычных занятий только утешения ради, да и настоящей охоты читать у него нет. Вопреки своему обыкновению тщательно, страницу за страницей, перелистывать журнал, он раскрывает его наугад и находит там большую картинку. Он заставляет себя хорошенько ее рассмотреть. Она изображает встречу русского императора с президентом Франции. Встреча эта происходит на корабле. Вокруг вдали видно еще много других кораблей, дым из их труб рассеивается в светлом небе. Оба, император и президент, только что длинными шагами спешили друг другу навстречу и сейчас обмениваются рукопожатием. Позади императора и позади президента стоят по два господина. По сравнению с радостными лицами императора и президента лица сопровождающих очень серьезны, взоры каждой группы сопровождающих устремлены на ее повелителя. Гораздо ниже, действие происходит явно на самой верхней палубе, стоят, срезанные краем картинки, длинные ряды салютующих матросов. Блюмфельд постепенно начинает разглядывать эту картинку с большим участием, затем отводит ее на некоторое расстояние и смотрит на нее, сощутив глаза. Он всегда был охотник до таких великолепных сцен. То, что оба главных лица так непринужденно, сердечно и легкомысленно пожимают друг другу руки, он находит очень достоверным. Правильно и то, что сопровождающие – а это, конечно, очень высокие чины, их имена указаны внизу – подчеркивают своей осанкой важность исторического мгновения.)

И вместо того чтобы достать с полки все, что ему нужно, Блюмфельд сидит и смотрит во все еще не зажженную головку трубки. Он настороже, вдруг, совершенно неожиданно, его оцепенение проходит, и он рывком поворачивается вместе с креслом. Но и мячи то ли настороже, то ли бездумно повинуются управляющему ими закону: одновременно с тем, как Блюмфельд поворачивается, они тоже перемещаются и прячутся за его спиной. Теперь Блюмфельд сидит спиной к столу, с холодной трубкой в руке. Мячи прыгают теперь под столом и, поскольку там ковер, едва слышны. Это большое преимущество; получают лишь совсем слабые глухие звуки, надо быть очень внимательным, чтобы их расслышать. Блюмфельд, однако, очень внимателен и слышит их хорошо. Но это только сейчас так, вскоре он, вероятно, перестанет их слышать совсем. То, что они делаются такими незаметными на коврах, кажется Блюмфельду большой слабостью мячей. Надо только подстелить им ковер, а еще лучше два, и они почти бессильны. Правда, лишь на определенное время, к тому же само их существование означает уже некую силу.

Вот когда Блюмфельду пригодилась бы собака, такое молодое, дикое животное быстро справилось бы с мячами; он представляет себе, как эта собака хватает их лапами, как сгоняет с позиции, как гоняет по комнате и наконец сжимает в зубах. Вполне возможно, что Блюмфельд заведет себе собаку в ближайшее время.

Пока же мячи должны бояться только Блюмфельда, а у него сейчас нет желания ломать их, может быть, ему для этого просто не хватает решительности. Он приходит вечером усталый с работы, и вот, когда ему так нужен покой, ему преподносят эту неожиданность. Только теперь он чувствует, как, в сущности, он устал. Сломать он мячи, конечно, сломает, но не сейчас и, наверно, лишь на следующий день. Если посмотреть на все непредвзято, то мячи вообще-то держатся достаточно скромно. Они могли бы, к примеру, время от времени выпрыгивать вперед, чтобы показать себя, а потом снова возвращаться на место, или могли бы прыгать выше, чтобы ударяться о доску стола и вознаградить себя этим за приглушение ковром. Но они этого не делают, они не хотят раздражать Блюмфельда без надобности, они явно ограничиваются лишь безусловно необходимым.

Правда, достаточно и этого необходимого, чтобы отравить Блюмфельду пребывание за столом. Он сидит там всего несколько минут, а уже думает о том, чтобы лечь спать. Одна из причин тому – невозможность курить здесь, ибо он оставил спички на тумбочке. Значит, нужно принести эти спички, а уж если он подойдет к тумбочке, то лучше, пожалуй, остаться там и улечься. Есть у него тут и задняя мысль, он думает, что мячи, в своем слепом стремлении держаться всегда позади него, прыгнут на постель и что там он их, ложась, волей-неволей раздавит. Возражение, что и остатки мячей способны, чего доброго, прыгать, он отклоняет. Необычайное тоже должно иметь свои границы. Целые мячи и вообще прыгают, хотя и не непрерывно, а обломки мячей никогда не прыгают и, значит, не будут прыгать и тут.

– Встали! – восклицает он чуть ли не с озорством, расхрабрившись от этого соображения, и шагает – мячи опять следуют сзади – к кровати. Его надежда, кажется, сбывается: когда он нарочно становится у самой кровати, один мяч тут же вспрыгивает на нее. Зато происходит неожиданная вещь: другой мяч отправляется под кровать. О такой возможности, что мячи могут прыгать и под кроватью, Блюмфельд и думать не думал. Он возмущен этим одним мячом, хотя и чувствует, как это несправедливо, ибо, прыгая под кроватью, этот мяч выполняет свою задачу, может быть, еще лучше, чем мяч на кровати. Теперь все зависит от того, какое место выберут мячи, ибо Блюмфельд не думает, что они способны долго работать врозь. И точно, в следующий миг нижний мяч тоже вспрыгивает на кровать. Теперь они попались, думает Блюмфельд, разгорячившись от радости, и срывает с себя халат, чтобы броситься на кровать. Но тот же мяч снова спрыгивает под кровать. От разочарования Блюмфельд буквально сваливается. Мяч, наверно, только осматривался наверху, и ему там не понравилось. А теперь за ним следует другой и, конечно, остается внизу, ибо внизу лучше. «Теперь эти барабанщики будут

здесь всю ночь», – думает Блюмфельд, закусывает губы и трясет головой.

Это печально, хотя, в сущности, неизвестно, чем могут мячи повредить ему ночью. Сон у него отличный, слабый шум он преодолит легко. Для полной уверенности в этом он, в соответствии с приобретенным опытом, подстилает два ковра. Словно у него собачка, которой он устраивает мягкую постель. И словно мячи тоже устали и стали сонными, прыжки их теперь ниже и медленнее, чем прежде. Когда Блюмфельд становится на колени перед кроватью и направляет под нее свет ночника, ему порой кажется, что мячи навсегда утомляются, так тихо они падают, так медленно и недалеко откатываются. Затем, правда, они снова поднимаются, как им положено. Но вполне возможно, что, заглянув под кровать утром, Блюмфельд найдет там два безобидных детских мячика.

Но кажется, они даже до утра не выдержат и прекратят прыжки раньше, ибо, уже улегшись, Блюмфельд ничего больше не слышит. Он напрягается, прислушивается, свесившись с кровати, – ни звука. Настолько сильным воздействием ковров быть не может, единственное объяснение – мячи перестали прыгать, то ли не могут как следует оттолкнуться от мягких ковров, то ли, что вероятнее, никогда больше прыгать не будут. Блюмфельд мог бы встать и взглянуть, как же все-таки обстоит дело, но, довольный, что наконец-то стало тихо, он продолжает лежать, он даже взглядом не хочет прикасаться к утихшим мячам. Даже от курения он с радостью отказывается, поворачивается на бок и засыпает.

Но без помех не обходится; как всегда, он и на этот раз спит без сновидений, но очень беспокойно. Бесчисленное множество раз за ночь его вспугивает обманчивое ощущение, будто кто-то стучит в дверь. А он твердо знает, что никто не стучит; кто станет стучаться ночью, да еще и в его дверь, к одинокому холостяку. Но хотя он твердо это знает, он каждый раз вскакивает и несколько мгновений напряженно смотрит на дверь, раскрыв рот, вытаращив глаза, и пряди волос дрожат на его влажном лбу. Он пытается сосчитать, сколько раз его будят, но от невероятных чисел, которые получаются, голова у него идет кругом, и он снова погружается в сон. Ему кажется, что он знает, откуда идет стук, стучат не в дверь, а совсем в другом месте, но в путях сна он не может вспомнить, на чем основаны его догадки. Он знает только, что собирается множество крошечных противных ударов, прежде чем они создадут большой сильный стук. Он вытерпел бы всю противность маленьких ударов, если бы мог избежать стука, но для этого по какой-то причине время уже упущено, он тут не может вмешаться, поздно, у него даже нет слов, рот его открывается только для немого зевка, и в гневе на это он зарывает лицо в подушки. Так проходит ночь.

Утром его будит стук служанки, вздохом избавления приветствует он этот тихий стук, на неслышность которого всегда прежде жаловался, и хочет уже крикнуть «войдите!», как вдруг слышит еще другой, бойкий, хоть и слабый, но поистине воинственный стук. Это мячи под кроватью. Они проснулись, набрались за ночь, в отличие от него, новых сил? «Сейчас!» – кричит Блюмфельд служанке, вскакивает с постели, но осторожно, так, чтобы мячи оставались у него за спиной, бросается, все спиной к ним, на пол, глядит, выкрутив голову, на мячи и... чуть не раздражается проклятьями. Как дети, которые скидывают с себя ночью обременительные одеяла, мячи толчками выдвинули за ночь ковры из-под кровати настолько далеко, что снова обнажили паркет под собой и могут опять производить шум. «Назад на ковры», – говорит Блюмфельд со злым лицом и, только когда мячи благодаря коврам снова стихают, велит служанке войти. Пока служанка, женщина жирная, бестолковая, ходящая всегда так, словно аршин проглотила, ставит на стол завтрак, делая необходимые для этого манипуляции, Блюмфельд неподвижно стоит в халате возле своего ложа, чтобы задержать мячи внизу. Он следит за служанкой взглядом, проверяя, заметила ли она что-либо. При ее глуховатости такое маловероятно, и Блюмфельд приписывает это крайней своей взвинченности из-за скверного сна, когда ему кажется, что служанка нет – нет да останавливается, прислоняется к какому-нибудь предмету комнатной обстановки и прислушивается, высоко подняв брови. Он был бы счастлив, если бы ему удалось заставить служанку немного ускорить свои дела, но та чуть ли не медлительнее, чем обычно. Она обстоятельно собирает блюмфельдовскую одежду и сапоги, следует с ними в коридор и долго отсутствует, однозвучно и совсем одиночно доносятся удары, которыми она там обрабатывает одежду. И все это время Блюмфельд должен оставаться на кровати, ему нельзя шевельнуться, если он не хочет потащить за собой мячи, он должен смириться с тем, что кофе, который он так любит погорячее, остынет, ему только и остается глядеть на спущенную занавеску, за которой мутно брезжит рассвет. Наконец служанка все сделала, прощется и уже хочет уйти. Но прежде чем окончательно удалиться, она останавливается у двери, шевелит губами и смотрит на Блюмфельда долгим взглядом. Блюмфельд уже хочет призвать ее к ответу, но тут она наконец уходит. Блюмфельду больше всего хочется сейчас распахнуть дверь и крикнуть ей вслед, что она глупая, старая, бестолковая баба. Но задумавшись, что он, собственно, имеет против нее, он находит только ту нелепость, что она несомненно ничего не заметила и все-таки делала вид, будто что-то заметила. Как сумбурны его мысли! И всего-то из-за того, что не выпался ночью! Какое-то объяснение скверному сну он находит в том, что вчера вечером отступил от своих привычек, не курил и не выпил настойки. Если я – таков итог его размышлений – не покурю и не выпью настойки, то сплю я скверно.

Отныне он будет больше заботиться о своем хорошем самочувствии, и начинает он с того, что извлекает из аптечки, висящей над тумбочкой, вату и затыкает себе уши двумя тампончиками. Затем встает и делает пробный шаг. Мячи хоть и следуют за ним, но он их почти не слышит, еще немного ваты, и они совсем не слышны. Блюмфельд делает еще несколько шагов, никаких особенных неприятностей нет. Каждый сам по себе, и Блюмфельд и шары, они, правда, друг с другом связаны, но не мешают друг другу. Только когда Блюмфельд поворачивается однажды быстрее и один из мячей проделывает встречное движение недостаточно быстро, Блюмфельд натывается на него коленкой. Это единственное происшествие, вообще же Блюмфельд спокойно пьет кофе, он голоден, словно этой ночью не спал, а прошел длинный путь, он умывается холодной, необычайно освежающей водой и одевается. Занавесок он до сих пор не поднял, предпочтя из осторожности оставаться в полумраке, для мячей ему чужих глаз не нужно. Но когда он теперь готов уйти, он должен как-то позаботиться о мячах на случай, если они осмелятся – он так не думает – последовать за ним и на улицу. У него есть на этот счет хорошая идея, он открывает большой платяной шкаф и становится к нему спиной. Словно догадываясь о его замысле, мячи остерегаются внутренней части шкафа, они используют каждую пядь, остающуюся между Блюмфельдом и шкафом, прыгают, если уж иначе нельзя, на один миг в шкаф, но тотчас же убегают от темноты, глубже, чем за самый край, их никак нельзя загнать в шкаф, они предпочитают нарушить свой долг и держаться почти сбоку от Блюмфельда. Но их маленькие хитрости им не помогут, ибо теперь Блюмфельд сам влезает спиной вперед в шкаф, и тут уж деваться им некуда. Но тем самым и судьба их решена, ибо внизу шкафа лежат всякие мелкие предметы, башмаки, коробки, чемоданчики, которые, правда, – сейчас Блюмфельд сожалеет об этом – размещены в полном порядке, но все-таки создают большую помеху мячам. И когда Блюмфельд, который тем временем уже почти затворил дверь шкафа, теперь большим прыжком, каких уже много лет не делал, покидает шкаф, захлопывает дверь и поворачивает ключ, шары оказываются заперты. «Удалось-таки» – думает Блюмфельд и стирает с лица пот. Как шумят мячи в шкафу! Такое впечатление, что они в отчаянии. Зато Блюмфельд очень доволен. Он покидает комнату, и уже пустынный коридор оказывает на него благотворное действие.

Он вынимает из ушей вату, и многочисленные шумы пробуждающегося дома восхлищают его. Людей почти не видно, еще очень рано.

Внизу в подъезде перед низкой дверью, ведущей в подвальную квартиру служанки, стоит ее десятилетний мальчишка. Вылитая мать, ни одно уродство старухи не забыто в этом детском лице. Кривоногий, руки в карманах штанов, он стоит и пыхтит, потому что у него уже теперь зоб и ему трудно дышать. Но если обычно, когда на пути у него оказывается этот мальчишка, Блюмфельд ускоряет шаг, чтобы по возможности избавиться от такого зрелища, сегодня ему хочется чуть ли не остановиться возле него. Хотя мальчишка рожден на свет этой бабой и отмечен всеми знаками своего происхождения, пока он все же ребенок, и в этой бесформенной голове бродят все-таки детские мысли, если ему что-то вразумительно сказать и о чем-нибудь спросить, он, наверно, ответит звонким голосом, невинно и почтительно, а сделав над собой некоторое усилие, можно будет и эти щеки погладить. Так думает Блюмфельд, но все же проходит мимо. На улице он замечает, что погода приятнее, чем он полагал в своей комнате. Утренний туман рассеивается, и показываются полосы голубого неба, выметенного крепким ветром. Блюмфельд обязан мячам тем, что вышел из своей комнаты гораздо раньше обычного, он даже газету забыл непрочитанной на столе, во всяком случае, он выиграл благодаря этому много времени и может теперь идти медленно. Странно, как мало заботят его мячи, с тех пор как он отделил их от себя. Пока они преследовали его, можно было считать их какой-то его принадлежностью, чем-то неотъемлемо важным для суждения о нем лично, а теперь они были только игрушкой дома в шкафу. И тут Блюмфельда осеняет мысль, что он, может быть, успешней всего обезвредит мячи тем, что употребит их по истинному их назначению. Там в подъезде еще стоит этот мальчишка, Блюмфельд подарит ему мячи, не одолжит, а именно подарит, что, конечно, равнозначно приказу их уничтожить. И даже если они останутся целы, в руках мальчишки они будут значить еще меньше, чем в шкафу, весь дом увидит, как мальчишка с ними играет, другие дети присоединятся к нему, общее мнение, что тут дело идет о мячах для игры, а не о блюмфельдовских спутниках жизни, станет нерушимым и неопровержимым. Блюмфельд бежит назад в дом. Мальчишка как раз спустился по подвальной лестнице и хочет открыть дверь вниз. Поэтому Блюмфельду надо позвать его и произнести его имя, смешное, как все, что бывает связано с этим мальчишкой. «Альфред, Альфред!» – кричит он. Мальчишка долго медлит. «Пойди-ка сюда, – кричит Блюмфельд, – я тебе что-то дам». Две маленькие девочки дворника вышли из противоположной двери и с любопытством становятся справа и слева от Блюмфельда. Они соображают гораздо быстрее мальчишки и не понимают, почему он не идет. Они кивают ему, не спуская при этом глаз с Блюмфельда, но не могут догадаться, какой подарок ждет Альфреда. Любопытство мучит их, они переминаются с ноги на ногу. Блюмфельд смеется и над ними, и над мальчишкой. Тот, кажется, наконец все уяснил себе и неуклюже, тяжело поднимается по лестнице. Даже походкой он напоминает мать, которая, кстати, появляется внизу, в двери подвала. Блюмфельд кричит во весь голос, чтобы и служанка услышала его и, если понадобится, проследила за исполнением его поручения.

– У меня наверху в комнате, – говорит Блюмфельд, – два прекрасных мяча. Хочешь получить их?

Мальчишка только кривит рот, он не знает, как ему вести себя, он оборачивается и вопросительно смотрит вниз, на мать. Девочки же сразу начинают прыгать вокруг Блюмфельда и просят дать им эти мячи.

– Вы тоже сможете поиграть ими, – говорит им Блюмфельд, но ждет, что ответит мальчишка. Он мог бы сразу же подарить мячи девочкам, но те кажутся ему слишком легкомысленными, и у него сейчас больше доверия к мальчишке. А тот уже без слов посоветовался с матерью и утвердительно кивает в ответ на повторный вопрос.

– Тогда слушай, – говорит Блюмфельд, не желая замечать, что его не благодарят за подарок, – ключ от моей комнаты у твоей матери, его ты возьмешь у нее, а вот тебе ключ от моего шкафа, а в этом шкафу мячи. Потом снова осторожно запри шкаф и комнату. А с мячами можешь делать что хочешь и можешь не возвращать их. Ты понял меня?

Но мальчишка, к сожалению, не понял. Блюмфельду хотелось растолковать этому беспредельно тупому существу все как можно яснее, но именно оттого он повторял все слишком часто, слишком часто говорил то о ключах, то о комнате, то о шкафе, и вследствие этого мальчишка глядит на него не как на своего благодетеля, а как на искусителя. Девочки, однако, сразу все поняли, они насаждают на Блюмфельда и тянут руки к ключу.

– Подождите же, – говорит Блюмфельд и сердится уже на всех. Да и время идет, ему уже нельзя задерживаться. Сказала бы хоть служанка наконец, что поняла его и все как следует сделает для мальчишки. А она вместо этого все еще стоит у двери, жеманно, как глуховатые от смущения, улыбается и думает, может быть, что Блюмфельд там наверху вдруг пришел в восторг от ее мальчишки и спрашивает у него малую таблицу умножения. Не станет же Блюмфельд спускаться по подвальной лестнице и орать на ухо служанке, чтобы ее мальчишка бога ради избавил его от мячей. Он уже сделал достаточное усилие над собой, если готов доверить этой семье на целый день ключ от своего платяного шкафа. Не для того, чтобы пощадить себя, вручает он ключ мальчишке здесь, вместо того чтобы самому отвести его наверх и передать ему мячи там. Не может же он наверху сперва подарить мальчишке мячи, а затем сразу, как то, по всей вероятности, случилось бы, отнять их у него, потянув их вслед за собой как свою свиту.

– Ты, значит, так и не понял меня? – почти горестно спрашивает Блюмфельд, приступив было к новому разъяснению, но тут же прекратив его под пустым взглядом мальчишки. Такой пустой взгляд обезоруживает человека. Он может заставить его сказать больше, чем хочется, только чтобы наполнить эту пустоту смыслом.

– Мы принесем ему мячи! – кричат девочки. Они хитры, они уразумели, что получить мячи могут лишь через какое-то посредство мальчишки, но что и это посредство они должны создать сами. В комнате дворника бьют часы и велят Блюмфельду торопиться.

– Ну так возьмите ключ, – говорит Блюмфельд, и ключ скорее вырывают у него из руки, чем он сам кому-то вручает его. Оставь он ключ мальчишке, дело было бы несравненно надежнее. – Ключ от комнаты возьмите внизу у этой женщины, – прибавляет Блюмфельд, – когда вернетесь с мячами, отдадите ей оба ключа.

– Да, да! – кричат девочки и сбегают по лестнице вниз. Они знают все, решительно все, и Блюмфельд, словно заразившись бестолковостью от мальчишки, сам теперь не понимает, как это они все так быстро уловили из его объяснений.

Вот они уже тянут служанку за юбку, но Блюмфельд не может больше, сколь это ни заманчиво, наблюдать, как они выполняют свою задачу, – и не только потому, что уже поздно, но еще и потому, что он не хочет присутствовать здесь, когда мячи вырвутся на волю. Он хочет

дуже удалиться на расстояние нескольких улиц к тому времени, когда девочки только открыли наверху дверь его комнаты. Он ведь совершенно не знает, чего еще можно ожидать от мячей. И вот он второй раз за это утро выходит из дому. Он увидел еще, как служанка буквально отбивалась от девочек, а мальчишка засеменил кривыми ногами, спеша на помощь матери. Блюмфельд не понимает, почему на свет рождаются и плодятся такие люди, как эта служанка.

По дороге на бельевую фабрику, где служит Блюмфельд, мысли о работе постепенно берут верх над всем прочим. Он ускоряет шаг и, несмотря на задержку из-за мальчишки, приходит в свое бюро первым. Бюро это – за стеклянной переборкой, в нем стоят письменный стол для Блюмфельда и две конторки для подчиненных Блюмфельду практикантов. Хотя конторки эти так малы и узки, словно предназначены для школьников, в этом бюро очень тесно, и практикантам нельзя садиться, потому что тогда для блюмфельдовского кресла не осталось бы места. Вот они и стоят целый день, прижавшись к своим конторкам. Это им, конечно, очень неудобно, но благодаря этому и Блюмфельду труднее следить за ними. Часто они прямо-таки приникают к конторке, но не для того чтобы работать, а чтобы пошептаться или даже вздремнуть. У Блюмфельда с ними много хлопот, они оказывают ему далеко не достаточную помощь в огромной работе, возложенной на него. Работа эта состоит в том, что он ведет все товарно-денежные расчеты с надомницами, нанимаемыми фабрикой для производства некоторых тонких изделий. Чтобы судить об объеме этой работы, нужно иметь точное представление обо всех обстоятельствах. А такого представления, с тех пор как непосредственный начальник Блюмфельда несколько лет назад умер, ни у кого больше нет, поэтому и Блюмфельд ни за кем не признает права судить о его работе. Фабрикант, например, господин Оттомар, явно недооценивает Блюмфельда, он признает, конечно, заслуги, которые снискал себе за двадцать лет на фабрике Блюмфельд, и признает их не только по необходимости, а и потому, что уважает Блюмфельда как человека верного, заслуживающего доверия, – но его работу он все-таки недооценивает, он думает, что ее можно наладить проще и потому во всех отношениях прибыльнее, чем ее ведет Блюмфельд. Говорят, и это, пожалуй, не совсем неправдоподобно, что Оттомар так редко показывается в отделе Блюмфельда лишь для того, чтобы избавить себя от огорчения, которое он испытывает при виде блюмфельдовских методов работы. Такая недооценка для Блюмфельда, конечно, печальна, но ничего не поделаешь, не может же он заставить Оттомара провести, к примеру, целый месяц в блюмфельдовском отделе, изучить все виды выполняемых здесь работ, применить собственные, якобы лучшие методы и после гибели отдела, к которой это непременно привело бы, убедиться в правоте Блюмфельда. Поэтому Блюмфельд непоколебимо исполняет свою работу, свое дело по-прежнему, он немного пугается, если порой после долгого перерыва вдруг появляется Оттомар, делает все же тогда, из чувства долга, как подчиненный, слабую попытку объяснить Оттомару то или иное установление, после чего тот, молча кивая, проходит с опущенными глазами дальше, а вообще-то Блюмфельд страдает от этой недооценки меньше, чем от мысли о том, что когда ему придется однажды уйти со своего места, немедленным следствием этого будет безвыходная неразбериха, ибо на фабрике нет никого, кто мог бы заменить его и занять его место так, чтобы избежать хотя бы самых тяжелых производственных перебоев в ближайшие месяцы. Когда шеф кого-то недооценивает, служащие, конечно, стараются всячески в этом его превзойти. Поэтому работу Блюмфельда недооценивают все, никто не считает нужным поработать какое-то время для обучения в блюмфельдовском отделе, и, когда набирают новых служащих, к Блюмфельду никого по собственному почину не направляют. Вследствие этого отдел Блюмфельда не пополняется. Несколько недель шла ожесточенная борьба, когда Блюмфельд, делавший до тех пор в отделе все совершенно один, с помощью только служителя, потребовал в свое распоряжение практиканта. Почти каждый день появлялся Блюмфельд в бюро Оттомара и спокойно, подробным образом объяснял ему, почему в этом отделе нужен практикант. Нужен он не потому, что Блюмфельд хочет себя поберечь. Блюмфельд не хочет себя беречь, он работает как проклятый и не собирается с этим кончать, но пусть господин Оттомар только подумает, как развивалось предприятие в ходе времени, все отделы соответственно увеличивались, только блюмфельдовский всегда забывают. А как вырос объем работы именно там! Когда Блюмфельд поступал на службу, господин Оттомар, конечно, уже не помнит этого времени, швей было с десятков, а ныне их число колеблется между пятьюдесятью и шестьюдесятью. Такая работа требует сил, Блюмфельд может поручиться, что работе он отдает себя целиком, но за то, что он будет справляться с ней полностью, он отныне поручиться не может. Господин Оттомар, правда, никогда прямо не отклонял блюмфельдовские ходатайства, так он со старым служащим поступить не мог, но его манера едва слушать, говорить через голову просящего Блюмфельда с другими людьми, полубещать, а через несколько дней все забывать снова – эта манера была довольно обидна. Не для Блюмфельда, в сущности, Блюмфельд не фантазер, как ни прекрасны почет и признание, Блюмфельд может обойтись и без них, он, несмотря ни на что, не уйдет со своего места, пока можно как-то терпеть, во всяком случае, он прав, а правота должна в конце концов, хотя иногда это происходит нескоро, снискать признание. Ведь Блюмфельд и в самом деле получил в конце концов даже двух практикантов – каких, правда, практикантов! Можно было подумать, что Оттомар понял, что свое неуважение к отделу он еще яснее, чем отказом в практикантах, покажет выделением для работы в отделе этих двоих. Возможно даже, что Оттомар только потому так долго и уговаривал Блюмфельда подождать, что искал таких практикантов, и долго, что было понятно, не находил. И жаловаться теперь Блюмфельд не мог, ответ ведь можно было предвидеть, он же получил двух практикантов, хотя просил только одного; так ловко обтяпал все Оттомар. Конечно, Блюмфельд все-таки жаловался, но только потому, что его буквально принуждало к этому его бедственное положение, не потому, что он и теперь надеялся на помощь. Да и жаловался он не настойчиво, а только походя, когда представлялся подходящим случай. Тем не менее среди недоброжелательных коллег вскоре распространился слух, будто кто-то спросил Оттомара, возможно ли, что Блюмфельд, даже получив теперь такую изрядную подмогу, все еще жалуется. На это Оттомар будто бы ответил, что так оно и есть, Блюмфельд все еще жалуется, но по праву. Он, Оттомар, понял это наконец и намерен постепенно выделить ему на каждую швею по практиканту, то есть всего около шестидесяти. А если и тех не хватит, он будет посылать еще, и не прекратит этого до тех пор, пока отдел Блюмфельда окончательно не превратится в сумасшедший дом, в который он уже много лет превращается. В этом замечании хорошо передразнивалась, правда, манера Оттомара говорить, но сам он, Блюмфельд в этом не сомневался, был очень далек от того, чтобы когда-либо хотя бы только подобным образом высказаться о Блюмфельде. Все это было выдумкой лентяев из бюро на втором этаже, Блюмфельд не обращал на это внимания – если бы только он мог так же спокойно не обращать внимания на присутствие практикантов! Но они были тут, и избавиться от них уже нельзя было. Бледные, слабые дети. По документам они уже достигли возраста, когда освобождают от обязательного обучения, в действительности же поверить в это нельзя было. Больше того, их даже учителю не хотелось доверить, так явственно нуждались они еще в материнском присмотре. Они еще не умели разумно двигаться, долгое стояние невероятно утомляло их, особенно в первое время. Стоило отвернуться от них, как они тут же от слабости обмякали, кособочились и горбатились в уголке. Блюмфельд пытался растолковать им, что они станут калеками на всю жизнь, если всегда будут так распускаться. Требовать от практикантов малейшего движения было рискованно, как-то один из них должен был что-то перенести на расстояние нескольких шагов, он пустился бегом и рассадил себе о конторку колено. Комната была битком набита швеями, конторки завалены товаром, но Блюмфельду пришлось на все плюнуть, отвести плачущего практиканта в контору и сделать ему там небольшую повязку. Но и эта ретивость практикантов была лишь внешней, как настоящим детям, им хотелось иногда отличиться, но гораздо чаще, вернее почти всегда, хотелось

отвлечь внимание начальника и обмануть его. В самый разгар работы Блюмфельд однажды, обливаясь потом, пробежал мимо них и заметил, как они среди рулонов товара меняются марками. Он готов был размозжить им головы кулаками, за такое поведение это было единственно возможное наказание, но это же были дети. Не мог же Блюмфельд убивать детей. И так он и мучился с ними дальше. Сначала он представлял себе, что практиканты будут помогать ему в разных отдельных работах, которые при распределении товара требовали очень большого напряжения и внимательности. Он думал, что будет стоять посредине за конторкой, держа все в поле зрения и ведя регистрацию, а практиканты будут сновать по его приказу туда и сюда и все распределять. Он представлял себе, что его надзор, при всей строгости для такой толчеи недостаточный, будет дополнен внимательностью практикантов, что эти практиканты постепенно накопят опыт, перестанут зависеть в каждой мелочи от его приказов и наконец сами научатся отличать швей друг от друга в отношении их потребности в товаре и добросовестности. При этих практикантах такие надежды были совершенно пустыми, Блюмфельд вскоре понял, что им вообще нельзя разрешать говорить со швеями. К иным швеям они с самого начала и вовсе не подходили, из страха перед ними или из отвращения к ним, зато к другим, к которым имели пристрастие, бежали навстречу порой до самой двери. Этим они приносили что угодно, вручали товар, хотя швеи имели право его принимать, с какой-то таинственностью, собирали для этих привилегированных всякие обрезки по пустым полкам, ненужные остатки, но, бывало, и годные для дела мелочи, они уже издали счастливо кивали им из-за спины Блюмфельда и получали за это конфетки в рот. Блюмфельд, правда, вскоре покончил с этим безобразием, выгоняя практикантов, когда приходили швеи, за перегородку. Но они еще долго считали это великой несправедливостью, сопротивлялись, нарочно ломали перья, а иногда, не отваживаясь, правда, поднять голову, громко стучали в стекла, чтобы обратить внимание швей на скверное обращение, которое они, по их мнению, терпели со стороны Блюмфельда.

Собственной неправоты они понять не могут. Так, например, они почти всегда приходят на службу с опозданием. Блюмфельд, их начальник, который с ранней юности считал само собой разумеющимся приходиться по меньшей мере за полчаса до начала работы – не карьеризм, не преувеличенная сознательность, а только какое-то чувство приличия заставляет его так поступать, – Блюмфельд должен, как правило, ждать своих практикантов больше часа. Жуя оставшуюся от завтрака булочку, он обычно стоит за конторкой в зале и подбивает итоги в расчетных книжках надомниц. Вскоре он весь уходит в работу и не думает ни о чем другом. Вдруг он так пугается, что перо еще несколько мгновений спустя дрожит у него в руках. Врывается один из практикантов, кажется, что он вот-вот свалится с ног, одной рукой он за что-то держится, другую прижимает к тяжело дышащей груди – но все это не означает ничего, кроме того, что мальчишка приносит извинение за опоздание, извинение, которое настолько смешно, что Блюмфельд нарочно пропускает его мимо ушей, ибо иначе он должен был бы дать негодяю заслуженную взбучку. А так он только глядит на него несколько мгновений, затем указывает вытянутой рукой на перегородку и снова погружается в свою работу. Теперь уж можно было бы ожидать, что практикант оценит доброту начальника и поспешит на свое место. Нет, он не спешит, он пританцовывает, он идет на цыпочках, а то и заносит ногу за ногу. Он хочет высмеять своего начальника? Да нет. Это только снова та смесь страха и самодовольства, против которой человек безоружен. Как же иначе объяснить, что Блюмфельд сегодня, когда он и сам необычно поздно пришел на службу, теперь, после долгого ожидания – проверить расчетные книжки ему не хочется, – сквозь тучи пыли, которые поднял перед ним своей шваброй неразумный служитель, глядит на улицу, где наконец-то показались его практиканты. Они идут в обнимку и, кажется, рассказывают друг другу важные вещи, которые, конечно, имеют к работе разве что недозволенное отношение. Чем ближе они к стеклянной двери, тем больше они замедляют шаг. Наконец один уже берется за ручку, но не нажимает на нее, они все еще что-то рассказывают, слушают и смеются.

– Отвори же нашим господам! – воздев руки, кричит на служителя Блюмфельд. Но когда практиканты входят, Блюмфельду уже не хочется ссориться, он не отвечает на их приветствия и идет к своему столу. Он начинает считать, но иногда поднимает глаза, чтобы посмотреть, что делают практиканты. Один, кажется, устал и трет глаза; повесив на гвоздь пальто, он пользуется случаем, чтобы немного еще постоять, прислонившись к стене, на улице он был свеж, а близость работы нагоняет на него усталость. Другому практиканту, напротив, хочется заняться работой, но только другой. Так, например, его давнее желание – подметать пол. Но это не его работа, подметать полагается только служителю; вообще-то Блюмфельд был бы не против того, чтобы практикант подметал пол, пускай бы подметал, хуже, чем служитель, это делать нельзя, но если практикант хочет мести полы, пусть и приходит раньше, прежде чем начнет мести служитель, и не тратит на это время, когда надлежит заниматься только канцелярской работой. Но уж если мальчишке всякие разумные соображения чужды, то хотя бы служитель, этот полуслепой старик, которого шеф ни в каком другом отделе, кроме блюмфельдовского, конечно, не потерпел бы, старик, живущий лишь по милости божьей и милости шефа, – хотя бы этот служитель был поуступчивей и отдал на минуту свою швабру мальчишке, ведь тот неуклюж, у него сразу пропадет охота мести, и сам еще будет бегать со шваброй за служителем, чтобы уговорить его снова взяться за подметание полов. Но, кажется, именно за подметанье чувствует себя служитель особенно ответственным, видно, как при приближении мальчишки он крепче сжимает швабру дрожащими руками, предпочитая остановиться и перестать подметать, только бы не выпустить швабры из рук. Практикант не просит словами, ибо боится Блюмфельда, который, по-видимому, что-то подсчитывает, да и обычные слова были бы бесполезны, ибо пробиться к служителю можно только сильнейшим криком. Сперва поэтому практикант дергает служителя за рукав. Служитель знает, конечно, в чем дело, он мрачно хмурится, смотрит на практиканта и тянет швабру поближе к себе, к самой груди. Теперь практикант складывает руки и просит. Надежды достичь чего-то просьбами у него нет, просить для него – развлечение, и поэтому он просит. Другой практикант сопровождает происходящее тихим смехом, явно, хотя и непонятным образом полагая, что Блюмфельд его не слышит. На служителя просьбы не производят ни малейшего впечатления, он поворачивается и думает, что теперь можно орудовать шваброй в безопасности. Но практикант, подпрыгивая на цыпочках и умоляюще потирая руки, последовал за ним и просит теперь с другой стороны. Такие повороты служителя и подпрыгиванья практиканта вдогонку повторяются много раз. Наконец служитель чувствует себя отрезанным со всех сторон и замечает то, что при чуть меньшей простоте заметил бы сразу же, – что он устанет раньше, чем практикант. Поэтому он ищет чужой помощи, грозит практиканту и указывает на Блюмфельда, которому пожалуется, если практикант не отвяжется. Практикант понимает, что теперь, если он вообще хочет получить швабру, ему надо торопиться изо всех сил, а потому он дерзко хватает ее. Непроизвольный выкрик другого практиканта предвещает развязку. Служитель, правда, на этот раз еще спасает швабру, сделав шаг назад и потянув ее к себе. Но практикант теперь не уступает, с открытым ртом и горящими глазами прыгает он вперед, служитель хочет убежать, но его старые ноги заплетаются, вместо того чтобы бежать, практикант вырывает швабру и, хотя и не завладевает ею, добивается того, что швабра падает, после чего она уже потеряна для служителя. По-видимому, однако, и для практиканта тоже, ибо при падении швабры все трое сперва цепенеют от страха, что сейчас все откроется Блюмфельду. В самом деле, Блюмфельд поднимает глаза к своему окошку, словно только сейчас обратил внимание на происходящее, он строго и испытующе смотрит на каждого, и швабра на полу тоже не ускользает от его взгляда. То ли молчание длится слишком долго, то ли виноватый практикант не может подавить в себе жажду подметать пол, как бы то ни было, он наклоняется, правда, очень осторожно, словно тянется к какому-то животному, а не к швабре, берет швабру, проводит ею по

полу, но тут же испуганно отбрасывает ее, когда, вскочив, выходит из-за перегородки Блюмфельд.

– За работу, довольно вам баклуши бить! – кричит Блюмфельд и, вытянув руки, указывает обоим практикантам дорогу к их конторам. Они сразу повинуются, но не пристыженно, не с опущенными головами, нет, они угловато вертятся около Блюмфельда и твердо смотрят ему в глаза, словно хотят этим удержать его от рукоприкладства. Однако по опыту они могли бы знать, что Блюмфельд не драчун. Но они слишком трусливы и всегда, без всякой деликатности, стараются отстоять свои действительные или кажущиеся права.